**Образ врача в русской классике**

Аникин А.А.

Образ врача в русской литературе – тема, мало затронутая в литературоведении, но значение ее для культуры очень велико. Мотивы болезни и исцеления, в буквальном и символическом значениях, пронизывают и фольклор, и религию, и любой вид искусства у всякой нации, поскольку "пронизывают" и саму жизнь. Литература дает эстетический, не житейский, но глубоко жизненный срез бытия, поэтому здесь речь не идет собственно о профессиональных сведениях, здесь не учатся никакому ремеслу, а только пониманию, видению мира: у всякой профессии есть свой, особый угол зрения. И мы можем говорить именно о художественном, в том числе и смысловом, значении изображенного дела. Задача истории медицины - показать, как меняется и облик врача, и его профессиональные качества. Литература затронет это косвенно, лишь в меру отражения жизни: что видит художник во врачебном поприще и какие стороны жизни открыты именно глазам врача.

Литература тоже своего рода лекарство - духовное. Поэзия далеко ушла от, возможно, первых обращений слова к делу врачевания: по-своему поэтические заговоры, заклинания были рассчитаны на подлинное исцеление от недугов. Теперь такая цель видится только в символическом значении: "Каждый стих мой душу зверя лечит" (С.Есенин). Поэтому в классической литературе мы сосредоточены на герое-враче, а не авторе-врачевателе (шаман, знахарь и т.д.). А для осмысления нашей темы уже ее древность, восходящая в разных вариациях к дописьменному слову, должна обусловить некоторую осторожность в анализе. Не надо обольщаться легкими и решительными обобщениями, вроде того, что о медицине говорят именно писатели-врачи, ведь вообще едва ли не в каждом классическом романе есть хотя бы эпизодическая фигура врача. С другой стороны, ракурс темы предполагает нетрафаретные толкования знакомых произведений.

А как было бы удобно сосредоточиться только на А.П. Чехове!.. Использовать знаменитый афоризм о "жене-медицине" и "литературе-любовнице"... Тут могло бы появиться и столь любимое литературоведами слово "впервые": впервые у Чехова литература полно отразила облик отечественного медика, его подвижничество, его трагизм и т.д. Потом пришли Вересаев, Булгаков. Действительно, как будто благодаря Чехову литература посмотрела на жизнь глазами врача, а не пациента. Но были и до Чехова врачи-писатели, и точнее было бы сказать: дело не в биографии автора; в литературе XIX века было подготовлено сближение с медициной. Не оттого ли литература слишком громко взывала к лекарям, постоянно жалуясь то на геморрой, то на катары, то на "кондрашку с ветерком"? Не шутя же, видно, что ни одна профессия не воспринималась так содержательно, как должность медика. Так ли было важно, является ли герой литературы графом или князем, артиллеристом или пехотинцем, химиком или ботаником, чиновником или даже учителем? Иное дело - врач, такой образ-профессия всегда не просто содержателен, но символичен. В одном из писем Чехов сказал, что "не может помириться с такими специальностями, как арестанты, офицеры, попы" (8, 11, 193). Но есть специальности, которые писатель признает как "жанр" (выражение Чехова), и именно врач всегда несет такую жанровую, т.е. повышенную смысловую нагрузку, даже когда появляется в произведении мимолетно, в коротком эпизоде, в одной строке. Например, у Пушкина в "Евгении Онегине" достаточно появиться строкам "все шлют Онегина к врачам, Те хором шлют его к водам", и колорит жанра налицо. Так же, как и в "Дубровском", где лишь однажды встретится "лекарь, по счастию не совершенный невежда": профессия "учителя" Дефоржа едва ли несет смысловой акцент, в медике же явно заложена интонация автора, который, как известно, в свое время "убежал от Эскулапа, худой, обритый, но живой". Глубоко символичен образа врача у Гоголя – от шарлатана Христиана Гибнера ("Ревизор") до "великого инквизитора" в "Записках сумасшедшего". Лермонтову Вернер важен именно как лекарь. Толстой покажет, как хирург после операции целует в губы раненого пациента ("Война и мир"), и за всем этим - безусловное присутствие символической окраски профессии: врач по должности приближен к основам и сущностям бытия: рождение, жизнь, страдание, сострадание, упадок, воскрешение, мука и мучительство, наконец, сама смерть (Ср.: "Я убежден только в одном... В том, что … в одно прекрасное утро я умру" - слова Вернера из "Героя нашего времени"). Эти мотивы, безусловно, захватывают личность каждого, но именно во враче они сосредоточены как нечто должное, как судьба. Поэтому, кстати, так остро воспринимается плохой или ложный медик: это шарлатан самого бытия, а не только своей профессии. Восприятие медицины как дела сугубо телесного в русской литературе тоже носит негативный оттенок. Тургеневский Базаров лишь на пороге своей смерти осознает, что человек вовлечен в борьбу именно духовных сущностей: "Она тебя отрицает, и баста!" - скажет он о смерти как о действующем лице жизненной драмы, а не о медицинском летальном исходе. Символика врача непосредственно связана с православной духовностью русской литературы. Врач в высшем смысле - это Христос, изгоняющий самые свирепые недуги своим Словом, более того - побеждающий смерть. В ряду притчевых образов Христа - пастырь, строитель, жених, учитель и др. - отмечен и врач: "Не здоровые имеют нужду во враче, но больные" (Мф., 9, 12). Именно такой контекст рождает предельную требовательность к "эскулапу", и поэтому даже у Чехова отношение к врачу жестко и критично: умеющий только лишь пустить кровь и потчевать от всех болезней содой слишком далек от христианской стези, если не становится враждебен ей (ср. у Гоголя: Христиан Гибнер - гибель Христа), но даже возможности самого способного врача не сравнятся с чудом Христа.

А.П.Чехов, конечно, встанет в центре нашей темы, но нельзя не отметить несколько предшествующих ему авторов, по крайней мере давших в русской литературе врачей как ведущих героев своих произведений. И это будут доктор Крупов из герценовских произведений и тургеневский Базаров. Безусловно, многое значил доктор Вернер из "Героя нашего времени". Так что уже до Чехова возникает определенная традиция, поэтому некоторые, казалось бы, сугубо чеховские находки окажутся скорее всего несознательными, но вариациями его предшественников. Например, для Чехова будет характерно показать выбор героем одной из двух стезей: либо врача, либо священника ("Цветы запоздалые", "Палата № 6", письма), но этот мотив уже встретится у Герцена; чеховский герой ведет долгие беседы с душевнобольным - и это тоже мотив герценовского "Поврежденного"; Чехов будет говорить о привыкании к чужой боли - об этом же скажет и Герцен ("Нашего брата трудно удивить... Мы с молодых лет привыкаем к смерти, нервы крепнут, притупляются в больницах", 1, I, 496, "Доктор, умирающие и мертвые"). Словом, излюбленное "впервые" надо употреблять с осмотрительностью, причем мы пока лишь для примера затронули частности, а не само восприятие медицинского поприща.

Лермонтовский Вернер, в свою очередь, явно был ориентиром для Герцена. Ряд сцен в романе "Кто виноват?" вообще перекликаются с "Героем нашего времени", но отметим, что именно Герцен, возможно в силу своей биографии (жестокие болезни и смерть в его семье), особенно привязан к образу врача (см.: "Кто виноват?", "Доктор Крупов", "Aphorismata", - связанные с общим героем Семеном Круповым, затем "Скуки ради", "Поврежденный", "Доктор, умирающие и мертвые" - т.е. все основные художественные произведения, кроме "Сороки-воровки"). И тем не менее везде сильно присутствие всего лишь эпизодического лермонтовского доктора: мрачное и ироничное состояние, в мыслях постоянное присутствие смерти, отвращение к житейским заботам и даже к семье, чувство избранности и превосходства среди людей, напряженный и малопроницаемый внутренний мир, наконец черная одежда Вернера, которая нарочито "усугубляется" у Герцена: его герой одет аж "в два черных сюртука: один весь застегнутый, другой весь расстегнутый"(1, 8, 448). Напомним сжатое резюме Вернера: "он скептик и материалист, как все почти медики, а вместе с этим и поэт, и не на шутку, - поэт на деле всегда и часто на словах, хотя в жизнь свою не написал двух стихов. Он изучил все живые струны сердца человеческого, как изучают жилы трупа, но никогда не умел он воспользоваться своим знанием... Вернер исподтишка насмехался над своими больными; но ... он плакал над умирающим солдатом. ... неровности его черепа поразили бы френолога странным сплетением противоположных наклонностей. Его маленькие черные глаза, всегда беспокойные, старались проникнуть в ваши мысли... Молодежь прозвала его Мефистофелем... оно (прозвище – А.А.) льстило его самолюбию" (6, 74). Как это и принято в журнале Печорина, Вернер лишь подтверждает эту характеристику. Причем характер его и есть отпечаток профессии, что видно по тексту, а не только игра природы. Добавим или особо выделим - неумение пользоваться знанием жизни, нескладывающиеся личные судьбы, что подчеркнуто обычной бессемейностью врача ("я к этому неспособен", Вернер), но часто не исключает способность глубоко влиять на женщин. Словом, во враче есть некоторый демонизм, но и потаённая человечность, и даже наивность в ожидании добра (это видно при участии Вернера в дуэли). Духовная развитость заставляет Вернера снисходительно относиться как к человеку, больному, так и к возможностям медицины: человек преувеличивает страдания, а медицина отделывается незамысловатыми средствами вроде кисло-серных ванн, а то и обещаниями, что, мол, до свадьбы заживет (так можно понять один из советов Вернера).

Герцен в общем развивает вернеровский характер, его "генезис". Если чеховский доктор Рагин из "Палаты № 6" хотел быть священником, но из-за влияния отца словно поневоле стал медиком, то у Крупова выбор медицинского поприща - не принуждение, а страстная мечта: рожденный в семье дьякона, он должен был стать служителем церкви, но побеждает - и уже вопреки отцу - неясное, но мощное влечение к поначалу загадочной медицине, то есть, как мы понимаем, побеждает в духовно возбужденной личности стремление к реальному человеколюбию, воплощенному милосердию и исцелению ближнего. Но исток характера - не случаен: религиозная духовная высота переходит на реальную стезю, и ожидается, что именно медицина удовлетворит духовные поиски, а в мечтах – возможно, окажется и материальной оборотной стороной религии. Не последнюю роль здесь играет и неприглядная, по Герцену, церковная среда, отталкивающая героя, здесь люди "поражены избытком плоти, так что скорее напоминают образ и подобие оладий, нежели Господа Бога" (1, I, 361). Однако подлинная, не в мечтах юноши, медицина по-своему влияет на Крупова: в медицинском поприще ему открывается скрытая от многих "закулисная сторона жизни"; Крупов потрясен открывшейся патологией человека и даже самого бытия, юношеская вера в прекрасное естественного человека сменяется видением болезни во всем, особенно остро переживается болезненность сознания. Опять же, как позже будет в духе Чехова, Крупов проводит все, даже праздничное время в доме умалишенных, и в нем созревает отвращение к жизни. Сравним у Пушкина: знаменитый завет "нравственность в природе вещей", т.е. человек от природы нравственен, разумен, красив. Для Крупова человек - не "homo sapiens", а "homo insanus" (8,435) или "homo ferus" (1, 177): человек безумный и человек дикий. И все-таки Крупов более определенно, чем Вернер, говорит о любви к этому "больному" человеку: "Я люблю детей, да я вообще люблю людей" (1, I, 240). Крупов не только в профессии, но и в житейском стремится излечивать людей, и у Герцена этот мотив близок к его собственному пафосу революционно настроенного публициста: излечить больное общество. В повести "Доктор Крупов" Герцен с навязчивой претензией преподносит в сущности неглубокие и даже не остроумные "идеи" Крупова, который весь мир, всю историю рассматривает как безумие, истоки же безумства истории - во всегда больном человеческом сознании: для Крупова нет здорового человеческого мозга, как нет в природе чистого математического маятника (1, 8, 434).

Такой "полет" скорбной круповской мысли в этой повести кажется неожиданным для читателей романа "Кто виноват?", где доктор показан во всяком случае вне всемирно-исторических обобщений, что и выглядело более художественно верным. Там Герцен показал, что в провинициальной среде Крупов превращается в резонерствующего обывателя: "инспектор (Крупов - А.А.) был обленившийся в провинициальной жизни человек, но однако человек" (1, 1, 144). В позднейших произведениях образ врача начинает претендовать на нечто грандиозное. Так, идеальное призвание врача Герцен видит необычайно широко. Но ... широко в замысле, а не в художественном воплощении, в наброске великой схемы, а не философии врача. Здесь претензии революционера берут верх над возможностями художника у Герцена. Писатель прежде всего озабочен "болезнью" общества, собственно поэтому Крупов уже и в романе "Кто виноват?" не столько лечит, сколько размышляет о житейском и устраивает судьбы Круциферских, Бельтова и др. Чисто медицинские его умения даны отдаленно, о них именно "рассказано", но они не "показаны". Так, емкая фраза о том, что Крупов "весь день принадлежит своим больным" (1, 1, 176) остается лишь ф р а з о й для романа, хотя, конечно, врач у Герцена не то что не шарлатан, но самый искренний подвижник своего дела - дела, однако, находящегося в тени художественного замысла. Герцену важно именно человеческое и мировоззренческое во враче: не будучи шарлатаном, его герой и должен отразить герценовское понимание влияния медицины на личность врача. Например, в эпизоде, когда Крупов пренебрег требованиями спесивого дворянина, не приехал сразу по его капризному вызову, а закончил принимать роды у кухарки, гораздо значительнее социальный, а не собственно медицинский ракурс.

И вот Герцен в повести "Скуки ради" говорит о "патрократии", т.е. об утопическом управлении делами общества не кем иным, как врачами, иронично называя их "генерал-штаб-архиатрами врачебной империи". И, несмотря на иронию, это вполне "серьезная" утопия - "государство врачей", - ведь и герой повести иронию отвергает: "Смейтесь сколько угодно... Но до пришествия царства врачебного далеко, а лечить приходится беспрерывно" (1, 8, 459). Герой повести не просто врач, а социалист, гуманист по убеждениям ("Я по профессии за лечение, а не за убийство" 1, 8, 449), словно воспитанный на публицистике самого Герцена. Как видим, литература настойчиво хочет, чтобы врач занялся более широким поприщем: он потенциально мудрый управитель этого мира, в нем заложены мечты о земном боге или великодушном царе-отце этого мира. Однако утопичность этого персонажа в повести "Скуки ради" очевидная, хотя и для автора очень светлая. Герой, с одной стороны, оказывается часто в тупике перед рядовыми житейскими превратностями, с другой стороны - и к идее "врачебного царства" относится с горечью: "Начни люди в самом деле исправляться, моралисты первые останутся в дураках, кого же тогда исправлять?" (1, 8,469). А Тит Левиафанский из "Aphorismata" даже с надеждой возразит Крупову в том смысле, что безумство не исчезнет, не вылечится никогда, и повесть оканчивается гимном "великому и покровительствующему безумию" (1, 8, 438)... Итак, врач остается вечным резонером, а сама его практика дает ему быструю череду наблюдений и - колких, ироничных "рецептов".

Наконец, коснемся последней в данном случае черты герценовского героя-врача. Врач, хотя бы и утопически, претендует на многое, это универсум ("настоящий врач должен быть и повар, и духовник, и судья", 1, 8, 453), и он не нуждается в религии, подчеркнуто антирелигиозен. Идея царства Божьего - его духовный соперник, и он всячески третирует и церковь, и религию ("Так называемый тот свет, о котором, по занятиям моим в прозекторской, я всего меньше имел случай сделать какие-нибудь наблюдения", 1, 8, 434). Дело вовсе не в пресловутом материализме сознания врача: он своим поприщем хочет с самой благой целью заменить все авторитеты; "патрократия" - одним словом. В "Поврежденном" герой уже рассуждает о грядущем преодолении смерти (этого ближайшего соперника для врача) именно благодаря медицине ("людей будут лечить от смерти",1, I, 461). Правда, утопическая сторона у Герцена всюду сопряжена с самоиронией, но это скорее кокетство рядом с кажущейся столь смелой идеей. Словом, и здесь, при вторжении в медицину мотива бессмертия, Герцен многое предопределил в героях-врачах Чехова и в тургеневском Базарове, к которому теперь мы и перейдем: врач Базаров будет духовно изломан в борьбе со смертью; доктор Рагин отвернется от медицины и от жизни вообще, раз бессмертие недостижимо.

Выбор героя-врача в романе "Отцы и дети" - скорее веяние времени, чем авторское кредо; у Тургенева вообще нет такого чрезмерного увлечения и символической трактовкой медицины, как у Герцена: помещики часто занимаются лечением крестьян от нечего делать, используя по положению свой авторитет (ср. Липина в "Рудине", Николай Кирсанов и др.). Однако восприятие Базарова как врача является необходимым ракурсом для понимания романа в целом. Более того, перед нами будут и другие врачи в романе, в том числе и Василий Иванович Базаров, что далеко не случайно: врачи отец и сын.

В "Отцах и детях" Тургенев показывает, как легко меняется внешняя сторона жизни, как кажущаяся пропасть ложится между детьми и их родителями, как кажется всесильным новое веяние времени, но рано или поздно человек понимает, что бытие остается неизменным - не на поверхности, а в своем существе: мощная, жестокая, а иногда и прекрасная вечность ломает самонадеянного человека, вообразившего себя "гигантом" (слово Евг. Базарова)... Какая же тут связь с медицинским поприщем?..

Жизненное содержание, заложенное и в романе, и в герое-враче настолько емко, что порой профессия героя остается втуне. Хрестоматийная и пространная статья Д.Писарева "Базаров" всерьез не касается профессионального поприща этого героя, словно это не художественная, а собственно биографическая черта: так уж жизнь сложилась. "Медициной он будет заниматься отчасти для препровождения времени, отчасти как хлебным и полезным ремеслом" - вот самая содержательная цитата из статьи, касающаяся Базарова-медика. Между тем Базаров и медик-то не такой уж обычный, а главное – этот характер во многих чертах обусловлен именно медициной; дело опять-таки не в поверхностном материализме героя того времени, влияния эти гораздо важнее и тоньше.

В отличие от биографии Крупова, мы не знаем, как Базаров пришел в медицину (хотя и в его роду тоже есть дьячок!); в отличие от, например, Зосимова из "Преступления и наказания" - Базаров вовсе не дорожит своей профессией, да и скорее остается в ней вечным дилетантом. Это врач, который вызывающе смеется над медициной, не верит в ее назначения. Тому удивляется Одинцова ("не сами ли вы утверждаете, что для вас медицина не существует"), с этим не может согласиться отец Базаров ("Ты хоть смеешься над медициной, а я уверен, можешь подать мне дельный совет"), это злит Павла Кирсанова – словом, складывается навязчивый парадокс: врач - нигилист, отрицающий медицину ("Мы теперь вообще над медициной смеемся"). Позже мы покажем, у Чехова, что для подлинного врача тут нет места смеху: удрученность состоянием больницы, трагедия бессилия врача, восторг перед достижениями и другое, но - не смех. Одновременно с этим ни один герой не будет так настойчиво рекомендовать себя именно доктором (или лекарем), как Евг.Базаров. И хотя для сознания данного героя свойственна неспособность разрешить как житейские, так и мировоззренческие противоречия, объяснение здесь иное: Базарову важен сам тип лекаря, образ человека, который влияет на ближнего, перестраивает людей и которого ждут как спасителя. Не таков ли именно врач? Однако он хочет быть спасителем на более широком поприще (ср.: "Ведь он не на медицинском поприще достигнет той известности, которую вы ему пророчите? - Разумеется, не на медицинском, хотя он и в этом отношении будет из первых ученых" (7, 289): показательный диалог отца Базарова и Аркадия Кирсанова в то время, когда жизнь Евгения уже мерится лишь неделями, скоро, по его же словам, "из него лопух расти будет"). Лишенный и сам всякой интуиции в приближении своей смерти, Базаров держит себя как безусловный авторитет, и медицина здесь играет роль постоянного ореола вокруг героя: коснувшись глубин жизни, которые открывает медицина, Базаров заведомо превосходит остальных, не смеющих так легко бросать остроты про анатомический театр, геморрой, так запросто попрактиковаться, вскрывая трупы (ср. - всего лишь примочки, которыми пользует больных Ник. Кирсанов). Обращение к беспомощному и у всех "одинаковому" т е л у больного обусловливает и типичную для разночинца антисословную позицию: в болезни или анатомичке равны мужик и столбовой дворянин, а прозектор-внук дьячка превращается в мощную фигуру ("ведь я гигант", скажет Евгений). От этой "гигантомании" - и смех над столь необходимым для него поприщем: сама медицина становится своего рода соперником, которого тоже надо уничтожить, как надо подавить всех вокруг – от друзей до родителей.

Хорош или плох при этом Базаров как врач? В делах несложных - он хороший практик, но скорее фельдшер (умело бинтует, рвет зубы), хорошо обходится с ребенком ("он...полушутя, полузевая, просидел два часа и помог ребенку" - ср. Зосимов ухаживает за Раскольниковым "не шутя и не зевая", вообще способен ночи не спать у больного, не претендуя на чрезмерную репутацию: каждый "медицинский" шаг Базарова превращен в сенсацию). Все же к медицине он относится больше как к развлечению, затрагивающему, однако, столь чувствительные стороны жизни. Так, у родителей Базаров именно от скуки начал участвовать в "практике" своего отца, как всегда подсмеиваясь над медициной и над отцом. Центральный эпизод его " развлечений" - вскрытие трупа и заражение - говорит не только о недостатке профессионализма у Базарова, но и символически - о своего рода мести со стороны осмеянной профессии. Так ли при этом не прав Павел Петрович Кирсанов, говоря, что Базаров - шарлатан, а не лекарь?..

Профессионально Базаров скорее всего так и останется несостоявшимся врачом, как бы ни возвеличивали его все вокруг (Василий Иванович скажет, что "император Наполеон не имеет такого доктора"; кстати это тоже своего рода традиция: обращение к Наполеону (I или III?) дает отражение на врача, таков Лоррей, врач Наполеона I, у Герцена и в известном эпизоде ранения Андрея Болконского у Толстого; в последнем случае - выздоровление, почти чудесное, благодаря иконе, у кн. Андрея вопреки "наполеоновскому" приговору врача). Так что и для Тургенева жизненное, а не профессиональное содержание важно в романе. Вернемся к тому, как профессия накладывает отпечаток на характер. Ни химик, ни ботаник не смогут так однозначно сводить человека к телесности, как несостоявшийся врач Базаров: Брак? - "Мы, физиологи, знаем, отношения между мужчиной и женщиной"; Красота глаз? - "Проштудируй анатомию глаза, что там загадочного"; Чувствительность восприятия? - "Нервы распущены"; Тяжелое настроение? - "Малины переел, на солнце перегрелся, да и язык желт". Жизнь постоянно показывает, что эдакая физиология ничего не объясняет, но его упрямство – не просто черта характера: сводя все к телесности, Базаров всегда ставит себя над миром, только это делает его, как его рост, пресловутым "гигантом". Здесь, кстати, и источник безверия Базарова: религии нет в теле, но и идея Бога не позволяет по-сатанински (замечание Павла Кирсанова) возвеличивать себя: Бог - соперник Базаровых.

Мысль о больном обществе или безумной истории – логична и проста для медика (Крупов). Базаров любит упрощения, и подобная мысль не могла не возникнуть у него: "Нравственные болезни ... от безобразного состояния общества. Исправьте общество – и болезней не будет". Поэтому он втайне мечтает о судьбе ...Сперанского (ср. в романе "Война и мир"), а не Пирогова или Захарьина (см. далее у Чехова). Роль врачевателя и диагноста общества Базаров будет играть постоянно (мгновенные диагнозы всему кирсановскому дому и роду, чуть не каждому встречному), ведь вокруг - пациенты или "актеры" анатомического театра. Конечно, Тургенев показывает, что Базаров ничего не вылечивает в обществе, живет лишь намеками на деятельность, но его "физиологизм" всегда вносит нечто острое, задевающее, однако это скорее смелость речи, а не дела. Грубые, "околоврачебные" остроты Базарова ("иногда тупые и бессмысленные", заметит Тургенев), вносят какую-то площадную пикантность, но эта пикантность - сродни матерщине: так звучит базаровское "геморрой" за столом в приличном кирсановском доме.

В образе Базарова интересен и такой ракурс. Его врачевание всегда (до самой сцены его умирания) направлено на другого, а не на себя. Сам Базаров не стал своим пациентом, хотя поводов для этого предостаточно. Снисходительное замечание - "Вот и сигарка не вкусна, расклеилась машина" (7, 125) – не в счет. В остальном же Базаров с неестественной настойчивостью создает свой образ как исключительно здорового человека (излечим общество, "другого", но не себя), здорового и физически, и душевно: "чем другим, но этим не грешны", "это все, вы знаете, не по моей части" и т.д. При этом нельзя не отметить, что там, где Базаров играет "супермена", он неинтересен и однообразен, отчасти кокетлив и лжив, зато весь колорит характера - в состояниях болезненных, когда от Базарова веет какой-то страшной, нездоровой обреченностью; ощущения бессмысленности и пустоты жизни охватывают его, как никакого другого героя "Отцов и детей", даже не стремящихся подчеркнуть свое абсолютное здоровье. И это, кстати, составляет немаловажный медицинский симптом - только из той области медицины, которой Базаров практически не касался: психиатрии. Вокруг Базарова в литературе – герои-врачи, которые в психиатрии видят, пожалуй, высшее врачебное призвание (Крупов, Зосимов, герои Чехова). Базаров же или несведущ в этом, или заведомо избегает опасных для себя наблюдений. Однажды звучит "диагноз" П.П.Кирсанову - "идиот": велика ли здесь доля психиатрии - не знаем, хотя неврозы Павла Петровича едва ли вызовут сомнение, но это именно неврозы, может быть, легкая паранойя. Но не более ли верным было бы в самом Базарове увидеть черты психопатии? Однако Тургенев показывает, что самого себя Базаров воспринимает далеко не "адекватно", а уж евангельский мотив "врач, исцели себя сам" (Лк., 4, 23) абсолютно чужд этому "дохтуру" (пока не касаемся сцен его смерти). Живой художественный характер Базарова испещрен чертами невротика и параноика: это не авторская тенденция, Тургенев не заставил своего героя пить чернила или мочу, лаять по-собачьи или забыть календарь, но почва для наблюдений здесь самая широкая, хотя и относящаяся не совсем к нашей теме. Мы лишь назовем ряд деталей, поскольку нам важен сам момент обращения врача исключительно на "другого", а не на себя, что и выделим в Базарове. Итак, Зосимова, Крупова или Рагина не могли бы не насторожить не только лихорадочные и порой бессвязные\* речи Базарова (вроде "Русский человек только тем и хорош, что он сам о себе прескверного мнения" и почему-то: "Важно то, что дважды два - четыре, а остальное все пустяки", 7, 207; кстати и занятное "выпадение" того звена, что и сам Базаров - русский, как он рядом же настаивает). Сам сюжет романа держится на нервозной неусидчивости, своего рода мании избегания, исчезновения у Базарова: он вечно куда-то неожиданно убегает: от Кирсановых - в город, из города - к Одинцовой, оттуда к родителям, опять к Одинцовой, опять к Кирсановым и снова у родителей; причем бежит он вечно туда, где его нервам очень неспокойно, и он знает это. Для сюжета это то же самое, что встать и уйти, не говоря ни слова, от Кукшиной, среди любимого им шампанского, или вдруг резко исчезнуть во время разговора с Одинцовой: он "глядит сердито и не может усидеть на месте, словно что его подмывало" (7, 255); Базарова охватывают и другие припадки – бешенства: в разговорах с Одинцовой, Павлом Кирсановым; главная сцена – разговор с Аркадием у стога сена, когда Базаров не шутя пугает своего друга: "Я тебя сейчас схвачу за горло… - Лицо (Базарова – А.А.) показалось таким зловещим, такая нешуточная угроза почудилась ему в кривой усмешке его губ, в загоревшихся глазах..." Базаров видит тягостные сны, очень удобные для психоаналитика. Собственно Тургенев, словно чувствуя эту линию в Базарове, заканчивает роман не просто смертью героя, но смертью в состоянии безумия (ср.: "ведь и беспамятных причащают"). Таков "предсмертный" сон о "красных собаках" ("Точно я пьяный," - скажет Базаров), но ничем не "слабее" сон перед дуэлью, где Одинцова оказывается матерью Базарова, Феничка – кошкой, Павел Петрович - "большим лесом" (ср. в сне о "красных собаках" Базарова преследует отец в виде охотничьего пса и тоже, очевидно, в лесу: "Ты надо мной стойку делал, как над тетеревом"). Сон всегда тяжел для Базарова, не потому ли он так болезненно требует, чтобы на него не смотрели, когда он спит\*, - более чем капризное требование в разговоре с Аркадием: чего здесь больше - заботы о своем величии (мотив - "у всех глупое лицо во сне", не допустить крушения идола), боязни своих снов, но требование шизофренически категорично. Состояние истерии, депрессии, мания величия - все это рассыпано в речах и поступках Базарова. Столь ярко описанный бред накануне смерти: "Мясник мясо продает... Я путаюсь... Тут есть лес" является отчасти ключом к неврозам Базарова: возбуждение от плоти, любовь к мясу (ср. в тексте противопоставление хлеб - мясо) и опять лес - как и в снах. Корни неврозов лежат в детских впечатлениях. Сам герой очень скуп на рассказы о себе, детство его сюжетом тоже не охвачено, и тем значительнее странное (и крайне редкое) и не вполне отчетливое воспоминание Базарова о том, что в детстве круг его восприятия замыкался на осине и яме в родительском имении, которые почему-то чудились ему каким-то талисманом. Это картина какого-то тягостного, одинокого детства в сознании болезненно впечатлительного ребенка. Учитывая сны Базарова, мотивы детства "мать – отец – дом" обрастают болезненностью, "лес" же, видимо, ассоциируется с детским испугом, "яма" тоже достаточно негативный образ. Еще раз повторим, что делать обобщение такого материала в данной главе пока рано, но отметить его присутствие в романе и связь с линией Базарова-врача необходимо.

Заметим ,что предложенная характеристика известного героя, разумеется, дискуссионна. Кроме того, предложенная специфическая оценка не может отвергать сложившуюся традицию в интерпретации "Отцов и детей". .

В картине смерти Базарова справедливо видят высокое звучание, это не только бреды, но и мощнейшая попытка доиграть роль "гиганта" до конца, даже когда рушатся возведенные героем химеры: он уже колеблется в безбожии (обращение к родительской молитве), он уже откровенен в просьбах о помощи и в признании женщины ("Это по-царски" - о приезде Одинцовой: где там "анатомический театр" или презрение к женщине). Наконец, Базаров уходит из жизни именно в р а ч о м: он весь сосредоточен на признаках смертельного заболевания, твердо видит ход смерти; Базаров наконец обратился как врач к самому себе. Нет и смеха над медициной, как и над своими тремя коллегами, хотя и немец, и уездный врач показаны Тургеневым почти карикатурно, максимальное напряжение воли точно преображает Базарова (см. также об этом в гл. "Лишний человек"), но он уже повержен. В русле нашей темы можно сказать, что это запоздалое преображение героя; осмеянная медицина будто мстит, как мстит и вся осмеянная и оскорбленная Базаровым жизнь.

Итак, Тургенев рассматривает врача и как социальную фигуру, и как источник глубоких, подчас бессознательных жизненных впечатлений, недоступных другим героям. Нельзя, правда, не отметить, что далеко не каждый врач окажется именно Базаровым (может быть для этого как раз и не хватает его натуры, его психики?). Так, фоном в романе пройдут и очарованный медициной, состоявшийся в отличие от своего сына врач Василий Базаров; уездные врачи - повод к негодованию и иронии для обоих Базаровых; как мы говорили, даже Николай Кирсанов пытался врачевать, и на этой почве у него построился брак с Феничкой... Словом, присутствие "врача" – активное, насыщенное поле художественных наблюдений.

Теперь, минуя ряд второстепенных персонажей, поведем речь о враче в творчестве А.П.Чехова, главного писателя этой темы - не только в силу его "основной" профессии (ср. даже в паспорте О.Л.Книппер-Чехова именовалась "женой врача"): именно в произведениях Чехова мы можем найти цельную картину судьбы доктора, в ее коренных поворотах и связях с мировоззренческими поисками.

Как нам представляется, Чехов вполне выразил взаимодействие во враче бытийного и христианского мотивов. Очевиднее связь медицины с тем, что он назвал в письме Е.М.Шавровой выражением "неистовая проза": речь шла о литературном герое-гинекологе, и, хотя эта специальность тоже не случайна, кажется, можем заменить ее в цитате просто словом "врач": "Врачи имеют дело с неистовой прозой, которая Вам даже не снилась и которой Вы, если б знали ее ... придали бы запах хуже, чем собачий"(8, 11, 524). Совместив два фрагмента, выделим далее: "Вы не видели трупов" (там же), "я привык видеть людей, которые скоро умрут" (А.С.Суворину, 8, 11, 229). Отметим, что Чехов сам не только врачевал, но и производил судебно-медицинские вскрытия, мы бы сказали, привыкал к облику телесной смерти, но не пытался отнестись к ней по-базаровски бесстрастно. Любопытно, что врачи-коллеги по-особому подчеркивали это. Один земский врач писал в соседний подмосковный уезд, что "врач Чехов очень желает ездить на вскрытия" (8, 2, 89), предлагая приглашать в таких случаях своего коллегу. В этом "очень желает" нечто большее, чем желание попрактиковаться... В 1886 г. переживание смерти лечившихся у Чехова матери и сестры художника Янова заставило его навсегда отказаться от частной практики и (символичная деталь) снять со своего дома табличку "Доктор Чехов". Писатель-медик особенно переживал "бессилие медицины" (из письма о приступе болезни Д.В.Григоровича, происшедшем в присутствии Чехова), и, наоборот, всякое приближение к идеалу врачевания необычайно вдохновляло его. Напомним характерный эпизод в письме А.С.Суворину: "Если б я был около князя Андрея, то я бы его вылечил. Странно читать, что рана князя ... издавала трупный запах. Какая паршивая была тогда медицина" (8, 11, 531). Какое важное сплетение литературы, медицины и - самой жизни! Особенно ценил в себе Чехов признанный дар точного диагноста, так в письмах многократно подчеркивается: при болезни "правым оказался один я".

Итак, медицина для Чехова - это средоточие истины, причем истины о самом сущностном, о жизни и смерти, и способность творить жизнь в самом буквальном и, скажем, чудесном смысле. Стоит ли искать более значительного приближения к идеалу Христа и не заставляет ли это уже переосмыслить ставшее привычным представление о Чехове как о человеке нерелигиозном, для которого от всей религии осталась лишь любовь к колокольному звону (см., напр., у М.Громова: 4, 168 и ср. его же соображение о том, что "медицина - едва ли не самая атеистическая из естественнонаучных дисциплин", 4, 184). В конце концов биографию художника творят его произведения, далеко не всегда совпадающие с доступным (а чаще всего совершенно недоступным!) для нас его житейским обликом.

Христианские чувства Чехова не стали предметом широких высказываний в письмах или дневниковых записях, хотя в ряде случаев видны в равной мере охлаждение к вере или выражениям веры "отцов" (имеем в виду религиозность его семьи), и неудовлетворенность состоянием человека, теряющего связь с церковью. Но и в этом случае художественный мир Чехова не может быть понят вне религии. (В скобках отметим, что этот поворот в изучении Чехова уже присутствует в современном литературоведении, и назовем книгу И.А.Есаулова "Категория соборности в русской литературе", 5.) Такие произведения, как "Перекати-поле", "Святою ночью", "Казак", "Студент", "На святках", "Архиерей", безусловно говорят о глубине религиозного опыта у Чехова. При более глубоком нашем понимании мы видим, что и все творчество Чехова сначала как бы не противоречит христианской духовности, а в конце концов является воплощением именно евангельского видения человека: заблуждающегося, не узнающего Христа, ожидающего откровения и суда, часто слабого, порочного и больного. В этом смысле религиозная неустроенность самого Чехова оказывается гораздо ближе евангельскому откровению, чем открытая проповедь от лица христианства или церкви. Не потому ли Чехов так отвергал гоголевские "Выбранные места ..."? Так и в раскрытии образа врача присутствие Христа, казалось бы, вовсе не очевидно, не дано как открытая тенденция, но это лишь убеждает нас в сокровенности наиболее важных черт духовной личности писателя: то, что не может быть выражено в стилистике и языком письма, ищет выражения в художественной образности.

Обратимся для начала к по-школьному хрестоматийному "Ионычу". В финале рассказа Чехов сравнивает старцевский облик с явлением языческого бога: на тройке, с бубенцами едут красные и пухлые доктор Ионыч и его подобие кучер Пантелеймон. С характерным раздвоением-многобожием это сравнение показывает именно антихристианский характер Старцева, погруженного во все земное, телесное, как в своей внешности, в оплотнении деньгами, недвижимостью, так и в его "громадной практике" врача. Для художника была бы слишком грубой схема: повести своего героя от Христа к языческому богу. Но смысл сюжета именно такой. Было бы и неправдивым для своего времени наделение Старцева православными чертами. Смысл же, в отличие от сюжета и характера, создается неявно, всеми деталями контекста. Так, в завязке рассказа дана символическая дата - праздник Вознесения, когда Старцев знакомится с Туркиными. Кстати, заметим, что это любимая чеховская черта, и очень значимая, - вести датировку событий по церковному календарю (ср.: Николин день, Пасха, именины - и в письмах, и в художественных текстах). В это время "труды и одиночество" было мотивом аскетической жизни Старцева, поэтому и праздничное настроение было столь живо. Особенно важна в рассказе сцена на кладбище, когда в сознании Старцева развивается глубоко одухотворенное восприятие мира, где смерть оказывается шагом в жизнь вечную: "в каждой могиле чувствуется присутствие тайны, обещающей жизнь тихую, прекрасную, вечную" (8 , 8, 327). Покой, смирение, увядшие цветы, звездное небо, церковь с боем часов, памятник в виде часовни, изображение ангела - очевидные детали перехода жизни, времени от смертной плоти к вечности. И мы заметим, что для Чехова вечная жизнь является не только принадлежностью религии, но и идеалом медицины: так он рассуждал о И.И.Мечникове, допускавшем возможность продления жизни человека до 200 лет (8, 12, 759). Возможно, надо именно с этой стороной чеховского мировоззрения связать и так часто повторяющийся мотив прекрасного, далекого, но достижимого будущего: "Проживем длинный, длинный ряд дней, долгих вечеров... и там за гробом... Бог сжалится над нами и мы увидим жизнь светлую, прекрасную. Мы услышим ангелов, мы увидим все небо в алмазах", - звучит в "Дяде Ване" словно в ответ на разочарование в жизни врача Астрова (8, 9 , 332; ср.: "Делать вам на свете нечего, цели жизни у вас никакой", 328). Медицина бесконечно продлевает жизнь, устремленную в вечность, - идеал, равно принадлежащий религиозному и научному сознанию. Однако в сознании Старцева образ вечной жизни проходит мимолетно ("На первых порах Старцева поразило то, что он видел теперь в первый раз в жизни и чего, вероятно, больше уже не случится видеть"), достаточно быстро теряя свою глубину и религиозную устремленность, и ограничивается переживаниями здешнего, земного бытия: "Как нехорошо шутит над человеком мать-природа, как обидно сознавать это!" Думается, именно здесь заключен момент духовного слома в Ионыче, а не в каком-то роковом влиянии на него заурядных пошлостей жизни. Отворачиваясь от образов вечной жизни, чеховский врач-"материалист" особенно резко погружается в мир плоти ("прекрасные тела", зарытые в могилах красивые женщины, навсегда уходящие со смертью тепло и красота), уже не видя н и ч е г о за этой оболочкой жизни. Отсюда - казалось, неожиданная в этом эпизоде мысль Старцева: "Ох, не надо бы полнеть!"

"Ионыч" - рассказ о том, как врач отказывается ощущать смысл бытия, если смерть кладет предел жизни, "прекрасное тело" становится тленом, но в мире и нет ничего, кроме телесности.

Такая отрешенность от вечного - представим гипотетического "Христа", который бы не вел к воскрешению, а только хорошо лечил болезни, - приводит чеховского врача к страданию, собственной болезни-болезненности, тяге ко смерти. Правда, не будет лишним заметить, что у Чехова есть ряд героев-медиков, которые вообще не приобщились к духовным безднам, даже так скоротечно, как Старцев, "безднам" своего поприща, для которых медицина не перерастает формы заработка (и довольно бессовестного: фельдшер из "Палаты №6", "Сельские эскулапы", "Хирургия", "Скрипка Ротшильда" и др.), что часто носит сатирический оттенок: так, в "Средстве от запоя" врачевание без всяких духовных бездн использует прекрасное лекарство - жестокий мордобой, на который так отзывчиво человеческое тело. В ряде произведений ("Огни", "Припадок", "Скучная история", "Произведение искусства" и др.) профессиональная сторона героев-медиков вообще не играет никакой символической роли, что лишь оттеняет значимые образы и чего, наверное, не могло не быть, учитывая, что у Чехова образ врача использован 386 раз (3, 240). Возможно, в этом количестве, едва ли поддающемуся исчерпывающему анализу, Чехов развил вообще все возможные вариации в трактовке образа, так что естественно не избежал и "нейтрального" варианта? Как бы наравне с другими профессиями?.. Отметим и образ врача из "Дуэли", выведенный скорее в силу пародийного жанра повести: наличие врача в "Герое нашего времени" заставило сделать Самойленко военным врачом, а не просто полковником, что кажется в ряду Старцева, Рагина, Дымова, Астрова какой-то вызывающей нелепостью, но среди героев "Дуэли" иного медика и не вырисовывается.

Вернемся, однако, к произведениям, которые отражают чеховское врачебное кредо. Если для Старцева "живая жизнь" ушла из его "громадной практики" в капитал, в недвижимость, то в "Палате № 6" медицина без поддержки христианских ценностей совершенно лишает человека, врача жизненных сил, а больший, чем у Старцева, духовный опыт не позволяет удовлетвориться ничем обыденным.

Лишь поначалу кажется, что больница производит "впечатление зверинца" из-за отсталости, неимения средств, упадка культуры. Постепенно ведущим мотивом становится отсутствие веры, Благодати, извращение духа. Чехов покажет как бесплодие материализма, так и особенно уродливые черты веры фальшивой или неполной. Так, для безумного жида Мойсейки помолиться Богу значит "постучать себя кулаком по груди и поковырять пальцем в дверях"! Такая картина помешательства могла быть изображена Чеховым столь убедительно после глубокого знакомства с психиатрией и психиатрическими лечебницами (см.: 8, 12, 168): по какому-то совершенно невероятному ассоциативному ряду молитва становится "ковырянием в дверях". И Чехов признавался в письме своему однокурснику по медицинскому факультету известному невропатологу Г.И.Россолимо, что знание медицины дало ему точность в изображении болезни (8, 12, 356), заметим и упреки Чехова ко Льву Толстому, связанные с ошибочными представлениями о проявлении болезни 8, 11, 409).

Обращение к Богу становится бессмысленной привычкой, сопровождающей самые безбожные дела. Солдат Никита "призывает Бога в свидетели" и отбирает нищенские подаяния у Мойсейки и вновь отправляет его побираться. Духовная пустота "закаляет" и врача, как выразился Чехов, и он уже "ничем не отличается от мужика, который режет баранов и телят и не замечает крови" (8, 7, 127). Таким будет сравнительно молодой врач Хоботов, а также предприимчивый, во всю практикующий фельдшер Сергей Сергеевич. В этом фельдшере, своей значительностью напоминавшем сенатора, Чехов отметит показную набожность, любовь к обрядам. Рассуждения фельдшера мало отличаются от обращений к Богу солдата Никиты, с именем Бога и тот, и другой лишь обирают ближнего: "Болеем и нужду терпим оттого, что Господу милосердному плохо молимся. Да!" (8, 7, 136).

В "Палате № 6" Чехов показывает, что современному человеку религиозное чувство не может быть дано легко и бесконфликтно. Врач Андрей Ефимович Рагин в самой юности был близок к церкви, набожен и намеревался поступить в духовную академию, но веяния времени препятствуют религиозному становлению, поэтому Чехов укажет в тексте точную дату - 1863 год, - когда Рагин из-за насмешек и категорических требований отца поступил на медицинский факультет, "в священники так и не постригся". Само сведение рядом двух поприщ - церковного и лекарского - говорит о многом, в том числе и об их несовместимости для человека 60-80-х годов. Такая негармоничность выражена и во внешнем облике Рагина, передающем конфликт духа и материи: грубая внешность, буйство плоти ("напоминает разъевшегося, невоздержного и крутого трактирщика", ср. с Ионычем) и явная душевная угнетенность. Медицинское поприще углубляет в нем раздвоенность, заставляя отказаться от основного религиозного представления - о бессмертии души: " - А вы не верите в бессмертие души? - вдруг спрашивает почтмейстер. - Нет... не верю и не имею основания верить." Отсутствие бессмертия превращает жизнь и профессию врача в трагическое заблуждение ("Жизнь есть досадная ловушка"): зачем лечить, для чего блестящие достижения медицины, если все равно "к нему приходит смерть - тоже против его воли". Так духовное состояние героя разрушает не только его личность, но и в том числе его профессиональное поприще, в котором Чехов намеренно обозначит и достижения, и даже свое, "чеховское", качество - талант верного диагноста.

Все теряет смысл перед лицом смерти, и уже Рагин не видит разницы между хорошей клиникой и плохой, между домом и "палатой № б", свободой и тюрьмой. Все возвышенное в человеке лишь усиливает впечатление от трагической нелепости бытия, так и медицина не спасает, а лишь обманывает людей: "Принято в отчетном году двенадцать тысяч приходящих больных, значит, попросту рассуждая, обмануто двенадцать тысяч человек. ...Да и к чему мешать людям умирать, если смерть есть нормальный и законный конец каждого?"(8, 7, 134). Чехов рисует и ряд эпизодов, насыщенных собственно церковными образами - служба в церкви, поклонение иконе - и показывает, что без сознательного, с оттенком философии и науки, принятия основных религиозных положений обрядовость окажется лишь временным успокоением, за которым с еще большей силой встает тоска и обреченность: "Мне все равно, хоть в яму".

Итак, как и в "Ионыче", сознание медика ведет к глубине переживания жизни и смерти, которое не обогащает, а угнетает личность, если герой уходит из поля мощной духовной традиции. Рагин, в отличие от Старцева, предельно отвергает жизнь, пренебрегает и самой материей, плотью мира и в конце концов уходит в небытие.

Рядом со Старцевым и Рагиным герой рассказа "Попрыгунья" Осип Дымов может показаться идеальным образом врача. В самом деле, первые два героя, каждый по-своему, отворачиваются от медицины. Дымов весь поглощен наукой и практикой. Чехов и здесь особо подчеркивает близость врача к смерти, обозначив должность Дымова - прозектор. Дымов - образец врачебной самоотверженности, по целым дням и ночам дежурит у больного, работает без отдыха, спит с 3 до 8, совершает нечто действительно значительное и в медицинской науке. Даже рискует своей жизнью; как и Базаров, герой Чехова при вскрытии ранит себя, но, и это символично, не умирает (так автор покажет своего рода победу над смертью). Даже гибель Дымова будет вызвана другой, самой возвышенной причиной, когда он, словно жертвуя собой, вылечивает ребенка (очень значимое противопоставление - "труп - ребенок" - одновременно показывает, что и смерть приходит к Дымову из самой жизни, а не из смертного небытия). "Христос и жертвенность" - напрашивается аналогия, но... Чехов с очевидностью снижает этот образ. Дымов оказывается почти беспомощным во всем, что не относится к его профессии. Его необыкновенную кротость, терпимость, мягкость хотелось бы признать за нравственную высоту, однако Чехов дает проявиться этому в столь комичных эпизодах, что определенно говорит об иной авторской оценке (достаточно вспомнить эпизод, когда "икру, сыр и белорыбицу съели два брюнета и толстый актер",7, 59). Комично переданы даже душевные страдания Дымова: "Эх, брат! Ну да что! Сыграй-ка что-нибудь печальное" - и два врача нестройно затянули песню "Укажи мне такую обитель, где бы русский мужик не стонал". Нарочито дано равнодушное отношение Дымова к искусству: "Мне некогда интересоваться искусством". Значит, Чехов ждет от врача чего-то большего, чем содержит Дымов, автор с большей заинтересованностью пишет о болезненных и упадочных размышлениях Рагина, чем о духовном мире Дымова, больше того, трагичность Дымова показывает именно в совмещении высших качеств с явной духовной неразвитостью. Автор ждет от врача какого-то высшего совершенства: да, терпеть, вылечивать и жертвовать собой, как Христос? Но тогда и проповедовать, как Христос, тогда опять-таки, как Христос, заботиться о бессмертной душе, а не только о плоти. Контекст повести по-чеховски сокровенно и безупречно точно воссоздает этот идеальный, полный смысла образ врача.

Сразу очевидно контрастное, по сравнению с Дымовым, увлечение его жены искусством, ее экзальтированная и показная страсть к любым атрибутам духовности, тяга к общественному признанию, обращенность к Богу. Без дымовского упорства и какой-то, пусть односторонней, но силы и глубины это выглядит уродливо и пошло, но, как ни странно, "попрыгунья" восполняет односторонность Дымова: тот врачует тело, спасает для жизни, но не врачует души, точно уклоняется от рагинских вопросов "зачем жить?" - наделенная же абсолютно ложным сознанием Ольга Ивановна, наоборот, вся сосредоточена на духовном. И прежде всего она подчеркнуто богомольна, причем не показно и по-своему искренне. Именно она изображена в состоянии молитвы (исключительный художественный прием), она верит, что "бессмертна и никогда не умрет", она живет чисто духовными представлениями: красота, свобода, талант, осуждение, проклятие и т.д. - этот ряд кажется даже неожиданным для характеристики Ольги Ивановны, ведь эти представления чаще всего предельно извращены, но - они заложены в э т о т образ! Наконец, как Дымов "влияет" на тело больного, так мнится Ольге Ивановне, что она влияет на души: "Ведь это, думала она, он создал под ее влиянием и вообще благодаря ее влиянию он сильно изменился к лучшему" (8, 7, 67). Интересно сравнить Дымова и Ольгу Ивановну в эпизоде христианского праздника: второй день Троицы, Дымов едет на дачу, невероятно уставший после трудов, с одной мыслью "поужинать вместе с женой и завалиться спать" (8, 7, 57) - его жена вся увлечена устройством свадьбы некоего телеграфиста, в ее сознании - церковь, обедня, венчание и т.д., что неожиданно рождает вопрос "в чем я пойду в церковь?" И тем не менее мы признаем, что в сознании Ольги Ивановны закреплены черты духовности, хотя и с неизменно ложным, легковесным оттенком. Собственно на столкновении стихий здорового тела и извращенной духовности и строится "Попрыгунья". Так, на прорыв раскаяния и страданий О.И., пусть темных и нечастых, Дымов невозмутимо скажет: "Что, мама? - Кушай рябчика. Ты проголодалась, бедняжка". Дымов будет сам скрыто страдать, утонченно избегать обострений (напр., "дать возможность О.И. молчать, т.е. не лгать"," 8, 7, 66), но в идеале врача Чехов видит совершенную душевную опытность, искушенность и активность, укрепленные сильной верой, чего будет лишен Дымов. И только щадя своего героя, Чехов снимет с рассказа заголовок "Великий человек".

Удивительно значимую для нашей темы ситуацию создает Чехов в рассказе "Княгиня": врач Михаил Иванович находится в стенах монастыря, где у него постоянная практика. Такое сближение врача и священнослужителя напоминает и многочисленные представления самого Чехова в образе монаха (см.: 2, 236), письма со схимническими именованиями себя (вплоть до "Святого Антония"), частые посещения монастырей (ср. в дневнике его отца: Антон "был в Давидовой пустыни, подвизается в посте и трудах", 2, 474). И как медик герой "Княгини" представлен безупречно: "доктор медицины, студент Московского университета, заслужил любовь всех на сто верст кругом" (8, 6, 261), однако ему отведена словно ожидаемая нами роль обличителя и проповедника. Отметим одновременно в нем и черты воцерковленного человека, православного: обращения к имени Бога, безусловное уважение к церкви и ее служителям, непосредственное участие в жизни монастыря и выраженное сближение с монахами (ср.: "в м е с т е с монахами у крыльца находился и доктор", 8, 6, 264), защита православия и обличение антиправославных веяний (спиритизм) - казалось, все свойства, недостававшие Дымову, и вообще редкая полнота личности. Но тут мы еще раз заметим, что Чехов изображает не саму благодать духа и веры, а сегодняшнюю реальность евангельского ч е л о в е к а, заблуждающегося даже тогда, когда есть все атрибуты правоты (ср. - служители Синедриона). Так и Михаил Иванович: в его нравственных обличениях княгини видна не только искренность, но даже и правота, есть знание людей, способность ярко обличать, судить, исправлять пороки, как и болезни тела. Но - при этом Чехов подчеркивает жестокость, безблагодатность обличения М.И., в том числе и в резком контрасте его слов с благодатью Божественного мироздания, природного космоса, а также собственно благодатного уклада и ритма монастырской жизни: "У княжны страшно билось сердце, в ушах у нее стучало, и все еще казалось ей, что доктор долбит ее своей шляпой по голове" (8, 6, 261). Обличения доктора переходят в какое-то неистовство, упоение нравственным мучительством: "- Уйдите! - сказала она плачущим голосов, поднимая вверх руки, чтобы заслонить свою голову от докторской шляпы. - Уйдите!, - А как вы обращаетесь со своими служащими! - продолжал возмущаться доктор..." (8, 6, 261). Только совершенный припадок его жертвы вдруг заставит доктора неожиданно остановиться: "- Я поддался злому чувству и забылся. Это нехорошо? (8, 6, 263). Ясно, что чеховский врач не должен быть и столь кротко-безучастным к душе ближнего, как Дымов, и столь яростен, как Михаил Иванович. М.И. вполне раскаивается в своей жестокости ("Нехорошее, мстительное чувство"), а столь жестоко обличаемая им княгиня в конце концов осталась совершенно не поколебленной его речами ("Как я счастлива! - шептала она, закрывая глаза. - Как я счастлива!"). Так что, кроме слабости и неправоты М.И., Чехов подчеркивает и бесплодность его проповеди. Позднее, в рассказе "Крыжовник" Чехов отдаст роль обличителя, да еще призывающего ко всему высокому (вспомним образ "человека с молоточком"), хоть и врачу, но врачу ветеринарному, - И.И. Чимше-Гималайскому, чья патетика тоже оставляет его слушателей равнодушными. Как видим, идеал врача становится поистине недосягаемым! Но это будет неверное мнение.

Идеал врача окажется гораздо проще, доступнее, ближе к почве, к обыденности. Врач не будет принимать на себя непосильную роль Христа, но будет приближаться к нему, как бы в меру человеческих сил врачуя и т е л о, и д у ш у ближнего. Оказывается, столь высокая требовательность Чехова к врачу вполне удовлетворится сюжетом рассказа "Случай из практики".

Вновь колорит этого рассказа связан с православным укладом: поездка врача Королева к больной происходит накануне праздника, когда все настроено "отдыхать и, быть может, молиться" (8, 8, 339). В рассказе все предельно обыденно: нет яркого поиска, нет заостренной фабулы (вроде измены в семье, любви, несправедливого поступка и т.д.), даже нет рокового больного (ср. - смертельно больной ребенок в "Попрыгунье", "Врагах", "Тифе"). Наоборот, у больной "все в порядке, нервы подгуляли". Лишь отдаленным фоном набросаны мотивы общего неустройства бытия, фабричная монотонность, изуродованные капиталом люди и отношения, но это все привычный земной круг, и Чехов явно снижает социальный пафос наблюдений Королева, одним штрихом переводя его в вечные пласты религиозной метафизики - замечанием, ставшим бы в другой стилистике самым патетическим жестом: "главный, для кого здесь все делается, - дьявол" (8, 8, 346). Чехов признает, к т о является "князем мира сего", и уводит своего героя от прямой борьбы с дьяволом - к сочувствию, состраданию своему б л и ж н е м у, к которому врач будет относиться как к р а в н о м у себе, равному в общей судьбе человечества, не возвышаясь над своим страдающим "пациентом". Так, "пациентка" Королева скажет: "Мне хотелось поговорить не с доктором, а с близким человеком" (8, 8, 348), что в смысловом контексте рассказа звучит именно как мотив слияния во враче медика и, скажем, "самого близкого" из близких (неслучайно показано контрастное отчуждение друг к другу в семье и в доме Ляликовых, и врач восполняет эту неустроенность). Королев лечит душу не обличением и даже не готов проповедовать ("Как сказать? - раздумывал Королев. - Да и нужно ли говорить?"), но сочувствие н надежда на будущее счастье (аналог бессмертия), выраженные, как подчеркнет автор, "окольным путем" (8, 8, 349), приводят не столько к разрешению тягот бытия, сколько к общему умиротворению, душевному смирению и одновременно к душевной подвижности, росту: "окольные слова" Королева были явным благом для Лизы, выглядевшей, наконец, "по-праздничному", - и "она будто хотела сказать ему что-то особенно важное". Так, по Чехову, самое глубокое врачевание души даже невыразимо в слове. Просветленное состояние человека и мира определяет праздничный финал рассказа: "Было слышно, как пели жаворонки, как звонили в церкви". Возвышение духа меняет и мрачную картину жизни: "Королев уже не помнил ни о рабочих, ни о свайных постройках, ни о дьяволе"(8, 8, 350), и это ли не реальная победа над "князем мира сего", единственно возможная, по Чехову? Большего, чем это напряженное и просветленное состояние, врачу не дано достигнуть, здесь высшая ступень приближения "земского" - земного врача к идеалу врачующего Христа.

Мы не беремся разгадывать тайну личной судьбы художника, но, возможно, столь характерное для Чехова сопряжение медицины с литературой и являлось своего рода служением Христу: лечение тела, лечение души.

Действительно, и после Чехова приходят в литературу профессиональные врачи - вплоть до наших современников. Но Чехов будет своего рода завершением развития темы в русле отечественной классики, насыщенной духом православия. В иные времена - "иные песни". В этом понимании путь, ведущий от безбожника Крупова к чеховскому идеалу врачевателя Христа, - это путь к итоговому и одновременно высшему, преодолевшему противоречия и соблазны, толкованию образа врача в духе русской традиции.

**Список литературы**

1 Герцен А.И. Сочинения в 9 тт. М., 1955.

2 Гитович Н.И. Летопись жизни ж творчества А.П.Чехова. М., 1955.

3 Громов М.П. Книга о Чехове. М., 1989.

4 Громов М.П. Чехов. Серия "ЖЗЛ". М., 1993.

5 Есаулов И.А. Категория соборности в русской литературе. Петрозаводск., 1995.

6 Лермонтов М.Ю. Полное собр. сочинений. Т. 4. М., 1948.

7 Тургенев И.С. Собрание сочинений в 12 тт. Т. 3. М., 1953.

8 Чехов А.П. Собрание сочинений в 12 тт. М., 1956.